

С. А.
АНДРЕЕВСКИЙ

Избранное



Сергей Андреевский
Книга о смерти. Том II

«Public Domain»

1922

Андреевский С. А.

Книга о смерти. Том II / С. А. Андреевский — «Public Domain», 1922

«Прошло еще два года. Каждая их минута была по-своему любопытна и значительна. Даже то, что виделось во сне, вполне захватывало, хотя бы на время, мою душу. Возможно ли удержать все это!.. Пришлось бы не жить, а только записывать. И сколько бы получилось повторений, общеизвестных и ненужных, тогда как в самой жизни все это выходило как бы новым и необходимым! Но эти мгновения уже успели исчезнуть бесследно и для меня. Оглядываясь назад, я могу довольно кратко передать мою жизнь за это время...»

Содержание

Часть третья	5
I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Сергей Аркадьевич Андреевский

Книга о смерти. Том II

Часть третья

I

Теперь уже я могу просто рассказывать свою жизнь. И все, что бы я ни написал, будет соответствовать заглавию книги.

* * *

Прошло еще два года. Каждая их минута была по-своему любопытна и значительна. Даже то, что виделось во сне, вполне захватывало, хотя бы на время, мою душу. Возможно ли удерживать все это!.. Пришлось бы не жить, а только записывать. И сколько бы получилось повторений, общеизвестных и ненужных, тогда как в самой жизни все это выходило как бы новым и необходимым! Но эти мгновения уже успели исчезнуть бесследно и для меня. Оглядываясь назад, я могу довольно кратко передать мою жизнь за это время.

Возвратившись в начале августа из Парижа, я вступил в привычные условия начинающегося рабочего года. Вскоре приехала из Друскеник моя семья и начались судебные дела. В эту осень я задумал привести в порядок материалы настоящей книги, чтобы увидеть хотя бы начало ее отпечатанным на ремингтоне. Более всего меня пугали первые строки, первые страницы. Но я заставил себя просмотреть их снисходительно, надеясь, что дальше пойдет лучше. Оказалось нужным приделать более подробную автобиографию, и я весь углубился в свое далекое прошлое. Писал я при лампе, в поздние часы, перед сном, а наутро продолжал переживать свою повесть на прерванном месте, не замечая настоящего и поджидая ночных часов, чтобы в тишине записывать развернувшуюся передо мною ясную картину. Так пробежали осенние месяцы и наступила зима.

В ноябре сестра моя задумала усиленно вызывать меня в Харьков, чтобы я прочел там какую-нибудь лекцию. У меня был в запасе только сброшюрованный фельетон о Тургеневе, помещенный года за два перед тем в «Новом времени», и я решил прочесть его публично. Списавшись с профессором Багалеем насчет дня лекции и залы, я около середины декабря выехал в Харьков. Перед самым выездом я сдал на ремингтон страницы этой книги, относящиеся к моей студенческой жизни, а потому улицы Харькова были в то время особенно близки моему воображению.

Множество раз я бывал в Харькове и ранее, с тех пор как в далекие годы впервые покинул его перед поездкой для женитьбы. Описание моих последовательных свиданий с Харьковом составило бы целую историю сладких и мучительных прикосновений к прошедшему. Все это уже перегорело во мне. Но никогда в мои предыдущие поездки я не возобновлял в своей памяти того маленького домика за Нетечею, в котором тянулись страшные дни моей мучительной тоски. Я отмахивался от этого призрака и в душе побаивался его. И вот теперь, когда я заживо перестрадал свой кошмар на бумаге, я с какою-то жуткою храбростью собирался навесить именно этот уголок города.

На другой же день по приезде я отправился совершить эту прогулку. Мне захотелось пойти туда пешком. Мелкий снег кружился в легком морозном ветре. Из своей гостиницы

я пробрался через Павловскую площадь, глядя себе под ноги и встречая кое-где булыжник, обнаженный ветром среди крепкого снега. Влево желтели грязные, обветшалые университетские здания, а направо открывался поворот в улицу, ведущую за Нетечу. Я вступил на кирпичный тротуар и пошел вдоль тех же москательных и железных лавок, мимо которых тридцать лет тому назад ходил в университет. Я ждал: не екнет ли сердце прежнею тоскою? Все вокруг пестрело в моих глазах поразительно одинаково с каждым мгновением тех давних дней, как будто я и теперь возвращаюсь с лекции, как будто и мой умерший брат еще студент и будто передо мною снова лежит неразрешимую задачею предстоящая, начинающаяся жизнь. Я не противился этому впечатлению. Я даже радовался тому, что моя прежняя тоска так явственно себя напоминала. Грудь моя стеснилась – и я вздохнул, но тут же почувствовал, что во мне живет не настоящее, а прошедшее. Никакого страха я не испытывал. Нечего было и настраиваться на старый лад! Мне было грустно, без всякой примеси того ужасающего отчаяния перед неразрешимостью... А разве что-нибудь было разрешено? Нет. Но теперь казалось, что это вовсе и не нужно.

И я храбрее пошел вперед. Ни мост через Нетечу, ни пустырь налево, по которым прежде каждый шаг казался мне «смертною ступенью», – не смутили меня. Но я не сразу узнал среди низких домиков то место, где начиналась наша улица: в моей памяти вход в нее рисовался несколько иначе. Мне думалось, что с пустыря сейчас же завиднеется промежуток между домами. Пришлось, однако, взять немного вправо – и улица раскрылась, такая же узенькая и тихая. Вот он, вот, четвертый домик от угла. Те же три окошечка и запертая дверь на галерею. На столбе ворот белая дощечка с надписью: «Н. Дувиной». Это наша хозяйка – Настасья Степановна Дувина. Значит, она овдовела, она еще жива. Ей теперь за семьдесят! Я простоял несколько мгновений на деревянных мостках под замерзлыми окнами. Зачем туда входить? О чем разговаривать? Вот это мое немое присутствие подле той старухи за стеною – это и есть вечность... Пусть идет снег, пусть старуха доживает свои дни... Нет, я не войду...

На обратном пути в гостиницу я уже почти не узнавал своего давнишнего настроения, хотя передо мною восстанавлилось очень живо наше хождение в университет. Придя к себе, в свой просторный угловой номер, я присел за стол перед диваном и стал смотреть на крутившийся за окнами снег. Был второй час дня – время окончания лекций. Как я тогда мучился вопросом: к чему ведет каждый наш день!! И вот теперь те же часы дня, то же время года, то же зимнее освещение и вопрос тот же и сам я тот же... Но теперь, сколько ни углубляйся в этот вопрос, уже не соскочишь с рельсов... Мало ли что! Теперь уже давно заведенная жизнь: всегда что-нибудь надо делать. Может быть, и не нужно, а надо. Да вот, что же лучше. Ведь я приехал только для того, чтобы прочесть лекцию. Публика купит билеты: надо отслуживать перед публикой.

В городе были расклеены на видных местах розовые афиши о моей лекции. Фамилии Тургенева и Андреевского были напечатаны громадными буквами. Меня не пугало это неимоверное сближение, и я не смущался судьбою предстоящей лекции. Профессор истории Багалей, маленький тщедушный человек в очках, с жидкой бородкой и сильным хохлацким выговором, ходил вокруг меня с тихою и выжидательною заботливостью. Он думал о барышах для своего любимого детища, городской библиотеки, и досадовал, что для моего чтения был свободен только зал Думы, гораздо менее поместительный, нежели зал Дворянского собрания.

В день лекции я должен был обедать у моего товарища по гимназии и университету, того самого, который когда-то, будучи студентом, жил со мною и братом в домике за Нетечею. Теперь он был ректором Харьковского университета. Я прошел через те самые сени, в которые мы все трое, еще мальчиками, вступали с прошениями о принятии нас в число вольнослушателей. Высокая комната смотрела обедневшею и неопрятною. Меня тотчас же позвали к «ректору». Я миновал громадную пустую залу заседаний Совета – истинное святилище, в котором когда-то решалась наша судьба – и был крайне удивлен, когда увидел, что позади этой величе-

ственной комнаты находился совсем крошечный кабинет ректора, какой-то голый и неудобный застенок с простеньким письменным столом и кучами бумажных дел на полу. Мы условились с моим другом насчет обеда, и я тотчас же вышел, встретив при выходе, за дверью кабинета, двух студентов-просителей.

За обедом я признался товарищу, что ходил за Нетечу, и мы поговорили о Дувиных. Оказалось, что кроме нашей бывшей хозяйки, никого из обитателей домика не осталось в живых и что ранее всех умерла ее молоденькая замужняя дочь – умерла вскоре после того, как мы оставили квартиру.

После обеда я съездил к себе в гостиницу, чтобы переодеться для лекции. На лестнице Думы я застал поднимающуюся и торопившуюся публику.

Все билеты были распроданы, и вполне счастливый Багaley попросил меня обождать еще несколько минут только для того, чтобы можно было продать последние приставные места, так как наплыв народа продолжался. Вскоре и эти места были заняты. Многие не попали на лекцию. Дальнейший вход был прекращен, и меня пригласили в зал. Эстрада, по которой я в него вступил, была сплошь занята профессорами, так что я с трудом пробирался мимо них к своему месту. Как только меня заметили, поднялись рукоплескания, сперва редкие, а затем сильные и дружные. Я стал у кафедры, положил на нее свою брошюрку, надел *pinse-nez* и сразу с досадою убедился, что кафедра слишком низка и что текст лежит слишком далеко от моих глаз. Но рукоплескания еще продолжались. Я посмотрел в публику, готовясь к вступительной фразе. Передо мною чернела толпа во всю глубину зала и на балконе хор. В первом ряду молоденькая дама, с тонкой талией, в черном шелковом платье с белыми полосками, аплодировала мне в перчатках, очень приветливо, с благородною сдержанностью. Тем временем я успел найти нужный звук для первых слов и, выждав затишья, начал свое чтение внятно и просто. Тишина и внимание были тотчас завоеваны, и все прошло благополучно до самого конца. Я видел, что никто ни на минуту не испытывает скуки. Поэтому заключение лекции далось мне легко, с приятным предчувствием, что все мои слушатели остались довольны. Действительно: мне аплодировали горячо, в несколько приемов, так что я должен был трижды выйти на эстраду для неловких раскланиваний, с необходимою в этом случае и непонятною для меня самого улыбкой на лице.

Я сбыл свою лекцию!.. Мои глаза были утомлены, во рту у меня было сухо, но в то же время я был доволен своею усталостью. Я оставался в задней комнате, на диване, слушая похвалы... Ко мне вошла сестра – милая и радостная. Профессор Багaley пригласил нас к себе на чай. Толпа еще гудела вокруг, но уже можно было собираться к выходу. Нам подали шубы, и я с сестрою вдвинулся в массу народа. Я шел позади сестры, все с тою же усталостью на глазах. Мы уже спускались по ступеням лестницы, сжимаемые со всех сторон, когда сестра, обернувшись ко мне, шепнула: «Посмотри, ведь вся эта публика – это ты!»

Но вот этого именно я вовсе не испытывал. Я думаю, что каждый, кто сколько-нибудь побывал на виду, никогда не чувствовал того, что о нем воображают другие. Никто никогда не наслаждался с спокойною совестью и в полной мере ни своею известностью, ни своею славою, ни даже своим величием. Каждому должно было казаться, что все, к чему он сделался сопричастным, создалось как-то помимо него, самую жизнью, и что сам он, внутри себя, остается ничтожным.

Кстати, вспоминая, что в октябре этого же года я добыл билет на осмотр Зимнего дворца (Николай II жил тогда в Царском). В пасмурный и свежий день мы пошли туда с моим маленьким сыном и его гувернанткой. Мой мальчик заинтересовался только моделью одного парохода в Белой зале, где были собраны все подарки, поднесенные новой императорской чете, и после обхода всех комнат заметил: «Почему это везде изображено столько сражений?» Это было действительно преобладающее впечатление из всего, нами виденного в Зимнем дворце. Но я с любопытством осматривал комнаты Александра II и особую половину его жены. Мы видели

рабочий кабинет императора, где помещалась и его спальня, в узеньком и темном отделении за перегородкою с двумя арками: позади этой перегородки, в простенке между арками, стояла его железная кровать, на которой он и скончался. На простыне, под одеялом, сохранились черные пятна крови. В этом застенке, составлявшем спальню, все было чрезвычайно неуютно. Параллельно кровати, очень близко против нее, стоял стеклянный шкаф с разными образцами военных форм. В темной нише виднелся киот с образами и горящею лампадкою, а возле висели портреты умерших детей государя и два простеньких платица его покойной маленькой дочери. В кабинете, на разных столиках, были разложены скомканные, но свежие батистовые платки: камер-лакей объяснил нам, что государь, страдавший бронхитом, всегда приказывал заготавливать ему эти платки. Письменный стол был весь обставлен семейными фотографиями. Здесь же лежали на подносиках всевозможные ножики, ножницы, карандаши, ручки для перьев, очки, резинки, стеклышки и прочие невзрачные вещицы, составлявшие, очевидно, любимую рухлядь состарившегося человека, сделавшегося рабом своих привычек. На пепельнице, в стеклянном футлярчике, была сохранена недокуренная папироса, оставленная тут государем в день смерти. Нам показывали и чрезвычайно старое генерал-адъютантское серое пальто с красною подкладкою и засаленными погонами, в котором Александр II всегда работал. В соседнем, более просторном кабинете, где принимались министры, — на обширном столе, покрытом зеленым сукном, — хранилось перо, которым подписано освобождение крестьян.

Половина государыни Марии Александровны находилась в другой стороне дворца. В более сохранном виде осталась только ее спальня, величественная темно-синяя комната, выходящая окнами во двор. Все в ней было под один цвет: и балдахин над широкою кроватью, и полуоткинутае одеяло, и просторные мягкие диваны, и грандиозные пустые столы, покрытые темно-синим сукном. На столике подле кровати, в стеклянном бокале, торчал тощий букетик, состоявший из одной розы и веточки ландыша, сохраненный с помощью какого-то известкового состава. Это был последний букетик, заготовленный для государыни, по ее всегдашнему обыкновению, и поставленный перед нею в день ее кончины. Кровать, как нам говорили, с того дня осталась нетронутою. На этой самой простыне государыня умерла. Спертый воздух стоял в этом нежилом, заброшенном углу дворца. Память о бабушке теперешнего молодого императора, казалось, уже ни для кого не представлялась особенно интересною. Я вспоминал эту высокую, стройную государыню, с худощавым изящным лицом и туманными глазами, вспоминал ее портреты в молодости с жемчугами на тонкой шее, с очаровательными покатыми плечами и породистыми, словно выточенными руками — я еще видел пред собою ее морщинистое, совсем высохшее в последние годы лицо, окаймленное сложною прическою из мелких буколек, и чувствовал, что в этой пустой комнате все ее прежнее величие для меня совершенно исчезает. Ни лейб-казак на запятках ее кареты, ни церемониалы, сопровождавшие всю ее жизнь, ни ее портреты в короне и порфире не могли теперь разуверить меня в том, что это была самая обыкновенная женщина.

Между тем перед нами продолжали чередоваться различные залы Зимнего дворца. Это был не дом, а самый обширный в России храм, воздвигнутый человеку, — с его престолом и со «священными изображениями» божественного семейства. В одном из громадных коридоров мы натолкнулись на бесконечный ряд драгоценных обстановочных вещей, сложенных на полу: вазы, люстры, канделябры и т. п. были расположены на паркете в две линии. Все это было собрано из разных дворцов для того, чтобы Николай II с своей женой выбрали из этой массы то, что им понравится. В то время заново отделялась часть дворца для молодых супругов. Тут же, в коридоре, лежали целые штуки плюшевых ковровых материй для обивки полов. Вокруг нас суежились рабочие. Рассматривая все эти вещи, я на что-то наткнулся и в то же мгновение камер-лакей поспешил с тревогою предостеречь меня: «Будьте, барин, осторожнее... нельзя наступать на трон». Я обернулся и увидел на полу, вблизи моего сапога, часть разобранных дощатых ступеней, над которыми трудился какой-то обойщик, натягивая на них новое сукно.

Я невольно удивился такому богопочитанию! И все-таки я сознавал, что если бы я был царем, то, внутри себя, я считал бы, что все это богопочитание относится не ко мне, а к чему-то вне меня, – к России, к нашей русской жизни... И, конечно, каждый император, с таким же точно чувством, проезжает мимо любопытной и кричащей толпы, мимо флагов и ковров на домах, мимо своих бюстов на окнах магазинов и мимо всех волшебных огней иллюминации с его вензелями.

В маленьком виде испытывал то же самое и я, спускаясь с моей сестрой среди толпы по лестнице Харьковской Думы после моей лекции. Вся эта суeta возле шуб и щебетание молодых голосов – все это была недоступная мне, чужая жизнь – и ничего более...

Из Харькова я возвратился домой почти перед рождественскими праздниками. Эти зимние праздники обыкновенно вызывают во мне молчаливую и покорную тоску. Среди них проходят день моего рождения и день Нового года – два зловещих столба, мимо которых я стараюсь пробираться, зажав глаза. На этот раз Новый год начался незаметно и гладко. Все продолжалось по-старому, что я уже считаю верхом благополучия. Но в марте я простудился, и мои давнишние невралгические боли ожесточились с угнетающим упорством. Врачи посоветовали мне брать покамест электрические ванны в Еленинской больнице, а затем непременно отдохнуть летом на каком-нибудь прохладном морском берегу, например, возле Риги. Но чужие болезни никому не интересны...

Страннее всего было то, что с своим болящим телом я мог – и притом должен был – ходить, выезжать, работать. Мне предстояла поездка в Царицын. Я взял на себя защиту молодого судебного следователя, который выстрелил в старого товарища прокурора, вовлекшего его неопытную, почти не знавшую людей жену в какие-то развратные, похотливые отношения во время продолжительного отсутствия мужа. Заседание было назначено на 3 мая. Ванны несколько поправили мое общее состояние, но боль сосредоточилась в горле. Малейшее движение воздуха усиливало эту боль, а весна вышла ветреная и холодная, – даже мало похожая на весну. Но я собрался в Царицын и рассчитывал, что на обратном пути мне удастся посмотреть на коронационные торжества в Москве, так как въезд царя в Москву был объявлен на 9 мая, а коронация на 14-е.

Чуть ли не с осени минувшего года начались заманчивые возвещения в газетах о предстоящей церемонии. С середины зимы в объявлениях целые столбцы начинались с крупных слов: «На коронацию»; все московские домовладельцы предлагали внаймы свои помещения. Интерес к зрелищу возрастал по мере того, как столько народу жадно стремилось в Москву. Об остановке в гостинице нечего было и думать. Казалось, что, пожалуй, не найдешь ни одного свободного уголка. Но мне все-таки удалось обеспечить себе приют в квартирке одного молодого одинокого адвоката на Арбате. Его чистенькое помещение состояло из гостиной, кабинета, столовой, спальни и особой комнатки прямо из передней, которая была предоставлена мне. Вся мебель и вещи были новые, аккуратные, удобные. Хозяйством заведовала горничная Ариша, лет сорока, высокая брюнетка с услужливыми манерами, певучим говором и с видом попечительницы над молодым барином. Проездом в Царицын я провел сутки в этой квартирке и успел с нею освоиться. Мельком взглянул я на воздвигавшиеся во всех концах города деревянные украшения улиц, фонтанов, площадей и домов, на жерди с гербами, на полураскрашенные пирамиды, на декоративные стены – и затем, как только отъехал от Рязанского вокзала, погрузился в заботы о моем деловом путешествии. Горло болело невыносимо. За окнами вагона стояла стужа.

В середине следующего дня мы проезжали по «Земле Войска Донского». Я никогда раньше не бывал в этих местах и невольно вспомнил географическую карту, по которой учился, с печатным названием этой области, обведенной розовой краской вблизи червеобразного Каспийского моря. Сквозь окна были видны разливы рек. Целые леса, еще голые, купались в мутно-желтых, холодных волнах. Но эти картины при хмуром небе не давали представления о

весне. С высокой насыпи, по которой мы неслись, грязная вода, бурлившая вокруг сухих деревьев, казалась мне простою неопрятностью природы в ненастное время. Неужели я перестал чувствовать прелесть разлива!

В нашем вагоне было всего два пассажира: крепкий высокий старик лет за шестьдесят, со стриженной головой и длинной бородой, в тужурке и сапогах бутылками, и бледный, но тоже высокий офицер в казацкой форме. Старик был очень бодр и выбегал гулять по платформе почти на всех станциях в одной тужурке, оставляя меховой архалук на своем диване. А офицер оставался все время на месте, большею частью лежа или полусидя и подпирая рукою свою усталую голову. Я узнал, что он несколько раз падал с лошади на учениях и настолько разбил себе грудь, что теперь едет на родину, как почти негодный. Итак, я видел пред собою старость и молодость: нечего было жаловаться на судьбу!

Дорога была скучная. А мне предстояло проделать ее еще и на обратном пути! Только к часу ночи я попал в Царицын. Меня встретил подсудимый. Гостиница находилась очень близко от вокзала. Мне был приготовлен просторный номер с перегородкою для спальни, и я, совсем усталый, поторопился улечься в постель.

Следующий день (воскресенье) был совершенно ясный и почти жаркий. Перед моими окнами расстилалась громадная зеленая площадь, окаймленная невысокими каменными строениями. На правом углу стояло двухэтажное кирпичное здание Земской управы, где, как мне объяснили, должно было происходить судебное заседание. Я вышел с своим клиентом, чтобы побриться, а затем купить на завтрак зернистой икры. У парикмахера мы застали двух наших свидетелей, только что приехавших из Астрахани к завтрашнему заседанию. Это были друзья подсудимого – городской полицейский врач и советник губернского правления, оба – веселые и цветущие люди, хотя первый приближался к пятидесяти годам, а второй имел полные шестьдесят. Врач, коренастый мужчина с седеющими пышными бакенбардами, стриженной, почти лысой головой, серыми глазами и красненьким носом, говорил очень быстро, негромким, смеющимся голосом и имел вид провинциального бонвивана, доброго и надежного товарища во всякой пирушке и всякой беде. Советник Губернского правления, из разорившихся помещиков, смотрел настоящим барином. Высокий, плечистый, упитанный, с темными живописными глазами, правильным носом, с русской прической каштановых волос без седины, с круглой бородой и густыми усами, – он казался мужчиною «в самом соку». Впрочем, только усы у него были несколько светлее бороды, да еще при разговоре слышался недостаток зубов. Я обменялся несколькими фразами с этими господами и отложил ближайшее знакомство с ними до обеда.

Позавтракав у себя в номере зернистою икрою, которая была немного дешевле, но не лучше петербургской, я еще раз прилег отдохнуть и, когда встал, то решил в ожидании обеда погулять. Недалеко от гостиницы, если взять по площади направо, оказалась широкая и длинная улица с бульваром. Вход на бульвар, как всегда в провинции, был загражден вертящимся деревянным крестом. Желтая земля горбом возвышалась посредине аллеи и была вся испещрена просохшими следами ног. Солнце минутами грело совсем по-летнему, но довольно сильный ветер то и дело откуда-то срывался и нагонял холодок. Нега весны уже млела в воздухе. Кое-где показавшиеся прохожие гуляли без верхних одежд. Все они ходили одиночками и переступали медленно, занимаясь, по-видимому, созерцанием природы и вдыханием воздуха. Иные присаживались на скамейки, другие мечтали на ходу, намеренно задерживая свои шаги. Мне встречались только простые люди: мещане или мелкие чиновники. Я сел на скамейку и подставил свое лицо веселому, сильному солнцу. Бульвар был почти пуст. Если попадалась новая людская фигура, я ее прослеживал, пока она не исчезала. Между тем время приближилось к обеду. Я встал и тотчас же завидел издалика тоненькую, как будто изящную женщину, шедшую мне навстречу. Приближаясь к ней, я различил черное шелковое платье со шлейфом. Вокруг шеи был вырез с белыми кружевами. Над головой колебался нарядный зонтик. Из-под него на меня взглянуло тощее молоденькое лицо с черными выразительными глазами, и когда

мы поравнялись, меня обдало запахом пудры. Запыленный шлейф прошумел угловатыми взмахами от порывистой, нервной походки. Это была актриса! Нечего было и сомневаться. Вероятно, – хрупкий сосуд страсти... Но какую музою она мне показалась в этом тупом Царицыне!

Обед был назначен на вокзале железной дороги, в зале первого класса. Выбран был самый глухой час, когда зала совершенно пуста. Для нас накрыли круглый стол возле одного из широких окон. Здесь я встретил моего клиента с его молоденькой женой, советника с его старою супругою, привезенною из Астрахани, и доктора. Супруга советника была высокая и довольно тонкая седая дама с институтскими манерами, улыбающаяся и говорящая с небрежной грацией. Жена подсудимого, из-за которой и возгорелось дело, все время молчала. Это была низенькая женщина с темно-русыми волосами, стриженными в скобку, и продолговатыми синими глазами. Круглая черная шляпка совсем закрывала ее низкий лоб. Кожа лица и шеи была у нее необыкновенно нежная. Она имела пришибленный, виноватый вид. Если и улыбалась, то безучастно, из приличия. Но когда на нее не обращали внимания, она чуть приметно, как бы про себя, вздыхала. Обедом распорядился доктор. Благодаря его советам с поваром и буфетчиком, мы имели прекрасную стерлядь и довольно сносное вино. Беседовали непринужденно, как будто никому из присутствующих никакой беды не угрожало. О предстоящем процессе упоминали вскользь, как о забавном поводе, соединявшем нас за этим столом, – не более. А между тем завтра – суд...

Из вокзала я вышел вдвоем с доктором. Простившись с остальными, мы отправились на бульвар. Нежный свет предвечернего весеннего воздуха был очарователен. Ветер стих и на синем небе кое-где рисовались курчавые длинные облака. В палисаднике, через который мы проходили, на одном голом кусте акации, я увидел только что развернувшиеся листочки, еще наполовину сплюснутые, – яркие, как бархат, и тонкие, как зеленый батист... Необъяснимая радость шевельнулась во мне. Мне припомнились мои стихи: «И я жду – сердце бьется в груди – тайной радости жду впереди».

А что впереди?

Казалось, что в такой вечер во что бы то ни стало необходимо было каждому быть молодым и блаженным. Казалось, что сердце, оставшееся одиноким после стольких увлечений и привязанностей, теперь снова, не ведая никакого прошедшего, становилось девственным. Оно билось чуть слышную тревогою и безгранично верило, что где-то вблизи и вокруг непременно должно найтись другое сердце, которое с такою же тревогою бьется именно из-за него и только не умеет с ним встретиться. И вместе с тем являлось неопровержимое убеждение, что не успеет еще погаснуть эта заря, как вы войдете в комнату своей невесты, которая уже теперь, думая об одном вас, – вся, с головы до ног, молодость, прелесть, ум и любовь, – с загадочной улыбкой на лице радуется лишь тому, что вы еще хоть на минуту могли сомневаться в близости этого блаженства...

Я начал невольно что-то высказывать доктору об очарованиях весны, и он мне весело вторил. Он заговорил о себе, о своей холостой свободе и, между прочим, рассказал, что прежде он служил в этом самом Царицыне и что в его время здесь водились настоящие красавицы ради прихоти волжского купечества. Он добавил, что поклоняется здоровой, радостной жизни и во всем боготворит энергию природы. Его румяное лицо, крепкие зубы, широкая грудь и смеющиеся серые глазки, его негромкая, но поспешная и живая речь обличали в нем доброго, умного и ясного человека – одинокого философа-оптимиста, окрепшего среди всяких изнанок жизни, какие только могут быть доступны чуткому полицейскому врачу в провинции.

Мы пришли на бульвар. Он был переполнен воскресною публикою. В аллее теснился самый пестрый народ. Почти все гуляющие двигались группами в несколько человек или парами: две дамы посредине и два кавалера по краям, или муж с женою, или два приятеля и т. д. Нам попадались и мужичьи шапки, и картузы, и цилиндры, и дамские шляпки с перьями, и простые барашковые шапочки на гимназистках. Иногда встречались подростки с двумя косами

поверх кофточки. Возле них шагали юноши на краю аллеи, заложив руки в карманы, робкие и задумчивые, с опущенными головами, или, наоборот, заносчивые и поучающие. Все это гудело, шушукалось и топталось. Мы промаршировали среди этой толпы до десяти раз взад и вперед, обмениваясь замечаниями и шутками. Наступали нежные сумерки. Но воздух похолодел. Все лица раздумянились. Некоторые дамы плотнее подвязали косынки и шарфы. И все-таки публика редела очень медленно. Но нам уже пора было уходить.

Конечно, никакой романической встречи, о которой так явственно говорили и воздух и небеса, у меня не случилось. Мы отправились в гостиницу, где я узнал, что из Петербурга сейчас приехал брат подсудимого, молодой врач, чтобы находиться при брате на случай беды. Я вспомнил, что на мне лежит ответственность за эту беду...

Утром следующего дня погода испортилась. Небо нахмурилось и было свежо. Вся наша компания двинулась через площадь в суд. В зале Управы, где должно было происходить заседание, особенно выделялся громадный портрет нового императора. Этот небольшой юноша был изображен чуть не великаном среди неопределенного голубого воздуха, в длинных гусарских сапогах, попирающих гладкую почву из желтоватых, четвероугольных камней. В нижнем углу портрета живописец положил на каменистой почве, ради красоты, довольно густую тень и, благодаря этому казалось, будто царь безмятежно остановился над бездной. Но как бы там ни было, я прекрасно знал, что в конце концов жизнь подсудимого вполне зависела от этого юноши.

День прошел в допросе свидетелей. Пострадавший товарищ прокурора, как и предвиделось, не явился. Тотчас же после своей истории он был разжалован в судебные следователи и переведен в далекую губернию, откуда мог не являться в заседание по закону. Остальные свидетели разъяснили дело именно так, как я предвидел. Жена подсудимого допрашивалась при закрытых дверях. Я удивлялся, какую ужасающую выносливость обладала эта маленькая женщина, отвечавшая тихими короткими фразами. Она только задумывалась на несколько секунд прежде, чем дать ответ, но затем произносила его весьма точно, хотя без малейших признаков чувства на лице и в голосе. Ее поза ни на минуту не изменилась – слабый и как бы мертвый звук речи – ни разу не обнаружил нервности. Лишь иногда, перед ответами на самые мучительные вопросы, она чуточку заикалась, поспешно моргала, но затем произносила те же ясные, словно безжизненные слова. Между тем она теперь страшно любила мужа и была беременна от него на седьмом месяце! После скандала муж дал ей эту беременность как бы в наказание за ее порочность и с тех пор держал себя с нею, как посторонний – до исхода процесса... Судебное следствие закончилось около полуночи, и я попросил отложить прения на завтра.

На другой день я проснулся очень рано. Напился чаю, восстановил в своей памяти все дело и приготовился к речи, а между тем до открытия заседания еще оставалось полтора часа. Чтобы сократить время и не волноваться понапрасну под влиянием безделья, я сел за письмо к моему другу Зине Мережковской и в недоконченном виде положил его к себе в портфель. Погода была ясная. На площади, при ярком солнце, дул сильный ветер. На угловом балконе Управы теснилась кучка присяжных заседателей, вышедших подышать после ночи, проведенной в помещении Суда. Прогулявшись немного, я подошел к Управе за несколько минут до открытия заседания.

Началась речь прокурора. Она была длинная и, что всего опаснее в провинции, – вполне казенная. С первых же слов я вынул из портфеля недоконченное письмо и стал записывать в него свои впечатления от этой речи, чтобы не принимать ее всерьез и не разочаровываться в своих надеждах. Впоследствии оказалось, что этот мой прием сильно взволновал обвинителя, полагавшего, будто я, с каждым наклоном к бумаге, желал закрепить в своей памяти какую-нибудь несообразность в его доводах. Он старался бороться с этим призраком и потому говорил необыкновенно долго, с удивительной настойчивостью.

Благодаря моему занятию письмом, я встал с своего места по окончании этой речи, как будто ее совсем не было сказано. Все мои доводы казались мне свежими. И по мере того, как я видел, что выигрываю в мнении присяжных, я добродушно коснулся кое-каких мыслей, высказанных обвинителем.

Подсудимый был оправдан. После такого исхода критиковать меня не было никакой возможности. Все было найдено уместным и прекрасным в моей речи. Заседание окончилось в час дня, и я поспешил в свой номер, чтобы отдохнуть после этих тревожных суток, оторвавших меня от всего окружающего.

Проснулся я с особенно легким чувством, я знал, что мне предстоят только приятные впечатления. Вся моя комната была озарена высоким солнцем сверху донизу. На подоконнике жестянка с остатками икры совсем накалилась, оберточная бумага, разбросанная по номеру, вещи – все грелось в совсем летних лучах. Портфель с документами дела, лежавший на столе возле чернильницы, теперь казался мне вещью, до смешного утратившею надо мною всякую власть, как пустой пузырек от лекарства после тяжелой болезни, или как после экзамена – профессорские записки, в которые никогда в жизни больше не заглянешь. Я узнал, что во время моего отдыха мои деловые знакомцы весело позавтракали. Поэтому мне предстоял еще целый свободный день в Царицыне. Обедать мы устроились на вокзале, но был всего третий час, и я захотел прокатиться по городу в обществе счастливого и раздумавшегося астраханского доктора.

Город разделен на две части рекою Царицею; за рекою находится более возвышенная часть и туда постепенно подвигаются все новые постройки. Мы катились по немощеным улицам, широким и правильным, но почти деревенским. Кое-где мелькали двухэтажные каменные дома. Редкие садики едва-едва зеленели. Доктор изливал передо мною свое добродушие. Он хвалил всех. С особенным жаром он говорил о своей дружбе с «советником», которого называл превосходнейшим, редким человеком. Между прочим, оказалось, что грациозная и улыбающаяся советница давно уже перестала быть женою этого видного барина и что у него уже несколько лет длится связь с молоденькою купеческою сиротою. К ней он ездит ежедневно – привык и привязался, как к жене. Девочка держит себя вполне порядочно, но сам советник еще настолько молодец, что никогда не отказывается от холостой компании. И снова доктор настаивал, что это человек редкого душевного благородства. Так же сочувственно говорил он о моем клиенте и радовался, что теперь у них с женою непременно все наладится.

После катанья я занялся укладкою вещей и как только ее окончил, за мною пришел брат подсудимого, молодой женский доктор из Петербурга, высокий и тонкий брюнет с мягкой бородкою, в серой летней паре. Он в сдержанных, но искренних выражениях дал мне почувствовать, от какой великой беды был спасен его брат и как это порадует их старого отца!.. Мы отправились обедать... По дороге к вокзалу я встретил на пустой площади виденную мною два дня тому назад актрису. Она ехала на извозчике с бритым юношей, державшим ее за талию. На ней была желтая шляпка; шлейф того же самого черного платья кое-как укладывался на пролетке; ее темные выразительные глаза, как и прежде, блуждали в пространстве; ее худенькая фигурка, обхваченная рукавом песочного мужского пальто, казалось, случайно находилась в этих объятиях и никому, в сущности, не принадлежала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.